

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

«Поэт и муза» — так называется пока единственный поэтический сборник таловского автора Бориса Николаева. Честно говоря, если бы я увидел на книжной полке стихи с подобным названием, то, скорее всего, не задержал бы своего внимания на этой, казалось бы, претенциозной и одновременно тривиальной обложке. Но в силу обстоятельств, которые часто мудрее нас, книга эта оказалась у меня в руках, а стихи затянули сразу же, с первой страницы, обещающей интересное знакомство.

Ночь тонка, как паутина.
Скоро, скоро пробужденье.
Перекличкой петушиной
Обозначились селенья...

Только глубоко проницательный читатель оценит, на первый взгляд, простой поэтический образ, где временной отрезок и звуки «переводятся» автором в визуальное объемное представление. Но достаточно ли подобных стихотворных, где-то мастерских, зарисовок, чтобы с полной определенностью мы смогли бы сказать, что перед нами поэт. Насколько остра авторская необходимость делится всем этим с посторонними людьми. И в этом смысле Борис Николаев не разочаровывает. Не так часто он прибегает к «художественной демонстрации». Для него куда важнее поделиться с читателем самым для него главным — рассказать о себе, о своей жизни. При этом, естественно, дорожа

необходимой образностью языка и умением композиционно-цельно ладить стихи. Сам автор по специальности — архитектор, и во вкусе и способности «держать стиль» ему не откажешь. Тем не менее, его лирическое Я, или лирический герой вовсе не условны, а достаточно биографичны.

Эка невидаль, заметит иной, а как же иначе? Можно сказать, что и «невидаль». Во всяком случае, явление редкое среди брошюрных развалов сегодняшнего поэтического чтыва, особенно на страницах, по выражению самого Бориса Николаева, «провинциально-тонких наших книжек».

Перед поэтом (не перед эпигоном), при наличии не только художественного навыка, но и таланта, всегда стоит выбор. Есть неистребимое желание «зацепить» интерес читателя оригинальностью формы, стилистической эквилибристикой, ремейком какой-либо вечной и популярной темы с использованием всевозможных аллюзий и реминисценций — в некой сценической позиции, когда читатель внизу, как зритель в партере, пришедший посмотреть на «номера». И есть обратное, когда поэт идет к читателю «со своим»: подсаживается к нему за стол, на скамейку, едет с ним в общественном транспорте, заглядывает к нему домой. И самое главное при этом, такой автор, в отличие от «сценического», не боится показать читателю неинтересным, не комплексует по этому поводу.

Поэзия Николаева — это тот случай, когда «творческое проживание» автора со всей очевидностью глубоко увязано с жизнью поэта: с его конкретным прошлым (в большей степени), реальными людьми — друзьями, отцом, трагически погибшей любимой женщиной... И свои «биографические» истории автор умеет подать как поэтическое событие.

В стихотворении «Лебеди» Борис Николаев, вызывая в своем видении образ ушедшего из жизни отца — вызывая по причине чего-то недосказанного в прошлом, пытается еще раз прожить с ним, видимо, редкие счастливые минуты.

Я воссоздал картину, наконец,
Воображеньем, волей и стихами:
Гоню машину, рядом спит отец,
Вселенная мерцает над полями.

Два близких человека отправляются к родным, но уже «призрачным» местам. И этот «полуночный путь» в прошлое, пролагаемый воображением, преобразует, казалось бы, реальный окружающий мир, «залитый зеленым лунным светом»: и спящее селенье, и ветряк на взгорье, и пруд, и вереницу придорожных ромашек, — в картину вечно пребывающего в «документальной» отстраненности когда-то родного бытия. Сама машина, в которой путешествуют отец и сын, представляется уже машиной времени. У Бориса Николаева, чей возраст давно перевалил на вторую половину жизни, машина времени зовется уже не мечтой с путешествием в будущее, а воспоминанием, из которого порой горько возвращаться.

Я чувствую дыхание отца.
Слов нет — все и без них понятно,
И нет виденью этому конца,
И нету, кажется, пути обратно.
Но рвется пленка — прервано «кино».
Мне возвращаться одному придется
Из тех времен, что прожиты давно.
На самом главном вечно пленка рвется.

Безусловно, как и любому поэту, таловскому автору не чужды обращения к вечным вопросам бытия, но он не создает для этого искусственной ситуации. «Вечные темы», как, собственно, и мифология, в поэзии Николаева не существуют параллельно его собственной жизни, они переживаются им с той же естественностью и глубиной, как и существующая реальность — они органически связаны с

живым ощущением этой реальности, даже если это происходит во сне, как в стихотворении «Похищение Европы».

Чаще всего далекое, даже античное, прошлое пересекается с прошлым ближайшим. Поэт проживает свою судьбу в некоем общекультурном контексте.

...А из иного, эллинского, мира
Следят за ней, дыханье затая,
Из-за ветвей прожженные сатиры —
Моей веселой юности друзья.
На миг забыты пиршества, гулянки,
С козлами недалекое родство,
И нимфы, и веселые вакханки,
И суетное, злое озорство.

Даже кажущееся недалеким студенческое прошлое может предстать в виде затопленного античного города. И тогда в прошлое лирический герой погружается буквально — рыбкой —

Веселой, любознательной и глупой.
Не умствуя, не пыжась, не скорбя,
Навстречу солнцу под хрустальный купол
Мне так легко выталкивать себя!

И в этом, теперь уже подводном, путешествии по родным пенатам, «в безмолвии пустынных интерьеров» и «немых аудиторий», герой, по его собственному признанию, становится самим собой и, видимо, чувствует себя в прошлом, на самом деле, как рыба в воде. И уже не важно, память ли воссоздает детали минувшего, или воображение дорисовывает картину прошлого.

И кажется, понятно и естественно, почему Борису Николаеву так необходимо вновь и вновь «переживать пережитое»: там в далеком-близком прошлом все его самые родные люди живы, с ним, — и прежде всего постоянно воскресаемый из небытия образ погибшей жены Елены, которой поэт посвящает целый цикл стихотворений. Собственно, эта женщина с мифическим именем является и Музой автора («Я кормился с ладоней твоих дневников...»), и главной героиней его произведений, сливаясь с ним в некоем лирическом Мы. Для поэта Елена жива без всякой условности, она есть смысл его жизни, и мир без нее воспринимается чистым абсурдом. Вызывая из стихотворения в стихотворение образ любимой из прошлого, словно пробуждая «спящую красавицу», поэт каждый раз проживает с ней новую жизнь.

Ночные сполохи, гроза
Не трогали сознания:
Ведь предо мной твои глаза —
Две капли мирозданья.
В глухую темень, в забытье
Ночные плыли силы,
И пробуждение твоё
В любовь переходило.
.....
Входили в комнату сады
Под птичье щебетанье,
Вплывали медленно пруды
В томительном сиянье.
И опиралось все вокруг
На вечные основы.
И начинался новый круг
Какой-то жизни новой.

В стихотворении «Под окнами ясен» образ любимой подается на фоне событий, происходящих, по выражению автора, «за гранью разумного мира». И здесь

лиризм начинает «вплетаться» в публицистику, что является одной из особенностей поэзии, когда, как в музыке, происходит слияние в пределах потока единого переживания разных тем и интонаций. Сквозь сугубо лирическое подспудно определяется гражданская позиция автора. Поэтому, пусть и тривиально-патетическая, характеристика, которую дает Николаев лискинскому поэту Ромахову, «В нем любовь и честь, и Родина», с обобщающим уточнением: «все такое уязвимое», — вполне себе подходящая формула для большинства поэтов.

И эта «уязвимость» вызывает беспокойство у автора — за ту же Каменную Степь, где, как он пишет, «когда-то моя зарождалась душа», хранимая «духом докучаевской рукотворной природы». И совсем неслучаен возникающий пока в качестве миража причудливый образ американского авианосца, входящего даже не в крымскую бухту, а в Шкаринский пруд российской глубинки. «Почему тебя никто не видит?» — вопрошает с тревогой поэт. А в стихотворении «Прозрение» вовсе не выдуманный герой прямо так и говорит об «отступлении» российского духа.

Печать собственного переживания и мироощущения, наложенная на конкретные вещи, еще не успевшие остыть в воспоминаниях, делает поэзию таловского автора реалистичной, осязаемой, как тот глухой стук волейбольного мяча из николаевского «далекого парка детства», когда, действительно, «страшно... ветви сирени раздвинуть и не увидеть там никого».

Можно было бы говорить о драматизме творчества Бориса Николаева, если бы не его ирония, перефразируя автора, «простреливающая солнечным зайчиком тяжелую гардину».

Вот поэт рассказывает нам дачную историю, сравнивая садово-огородную атмосферу с Эдемом, где среди прочих граций в малиннике мелькает Ева и где Змей коварно прикинулся поливочным шлангом. Но роль искусителя на этот раз умело берет на себя лирический герой:

Я вспомнил Париса,
Тот яблоком женщин рассорил.
Нет, думаю, тетка,
Нельзя быть таким крохобором.
Вчера прикупил в магазине
Арбуз я, и вскоре
На грядке моей он лежал,
Как откормленный боров.
«Сорвал» я его
Под всеобщее дев ликованье.
Арбузов подобных
Давно не видала окрестность.
Простите мне, грации,
Этот подлог, но признание
Снимает вину,
И, по-моему, это не пресно.

По существу, всякое художественное произведение и есть этот самый «подложный арбуз». Другой вопрос, что его надо подавать таким образом, чтобы сохранялся его натуральный вкус и чтобы читатель испытывал глубокие эмоции от того, что он «обманут». И у Бориса Николаева, это получается, действительно, «не пресно».

Юрий БОРОДИН

ОТРАЖЕНИЯ

Деревья словно умываются,
Вошедши в воду по колени,
И на воде пересекаются
Их отражения и тени.

Из этой графики божественной,
Из тайников ее глубинных
Непринужденно и естественно
Исходит свет непостижимый.

Не объяснится, не расскажется,
Потом, наверное приснится...
И в отраженьях этих, кажется,
Уже нельзя не заблудиться.

БАБОЧКА

Бабочка села на сердце мое.
Я удивленно взглянул на нее:

Сердце мое, — ну, какой интерес
Для своевольных красавиц ванесс?!

Бабочки любят другие цветы.
Милая, все перепутала ты.

Только она не спешит улететь,
Словно дает мне себя рассмотреть.

Крылья раскроет и сложит не раз,
Пряча павлиний пленительный глаз.

Вот и в моем черно-белом кино
В мир многоцветный раскрылось окно.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Ночные сполохи, гроза
Не трогали сознания,
Ведь предо мной твои глаза —
Две капли мирозданья.

В глухую темень, в забытье
Ночные плыли силы,
И пробуждение твое
В любовь переходило.

Пульсировали свет и тень,
Пульсировали вены,

Упрямо приближался день,
И расступались стены.

И только лишь смирялась кровь
В изнеможенье нежась,
Переходила вдруг любовь
В неслыханную нежность.

Входили в комнату сады
Под птичье щебетанье,
Вплывали медленно пруды
В томительном сиянье.

И опиралось все вокруг
На вечные основы.
И начинался новый круг
Какой-то жизни новой.

РОМАХОВ

Ни Есенина, ни Кедрина,
Ни Рубцова Николая
К нам на Русь пускать не велено —
Резолюция такая.

Там в подвальных канцеляриях
Связи, видимо, могучие.
Все расписаны сценарии,
На учете каждый случай.

Пропускаются кричащие,
Кружева из слов плетущие,
Шелестящие, шуршащие
И, конечно вездесущие.

Но не обошлось без промаха,
Путаницы в картотеке.
И на свет явился Ромахов
В нашем сквозняковом веке.

В мире до кальсон раздетом,
Безобразьем заколыханном
Появляются поэты
С голосом давно не слыханным.

В детстве ли, во сне ли слышанном,
Заспанном на дне кармана.
Этим голосом надышишься, —
Как очнешься от дурмана.

В нем любовь, и честь, и Родина.
Все такое уязвимое...
В палисаднике — смородина,
В сердце грусть неизъяснимая.

В ПАРКЕ ДЕТСТВА

Ветер качает упругие кроны,
Солнечный свет по аллее бежит.
Старый наш парк, наш мирок потаенный,
Снова, как в детстве, сердцу открыт.

Будто из прошлого слышишь невольно
Мир, что мгновение назад был далек:
Глухо стучит старый мяч волейбольный,
Редкие крики, судейский свисток.

Рядом, за темной кулисой сирени,
Снова взметнется над сеткой рука...
Боже, да я ведь в ином измеренье,
Или же это по детству тоска?

Двое срываются, восемь — вдогонку,
Шорох сухой тормозящих колес,
Втулки скрипят, и летят шестеренки —
Наш «ноу-хау» — «кантри-кросс».

А на прудах дребезжанье лягушек,
Молча уходят ко дну поплавки...
Память моя, пожалей мою душу,
Чем-то скорее ее отвлеку.

Ветер отчаянней крутит вершины.
Как безучастны порывы его!
Страшно мне ветви сирени раздвинуть
И не увидеть там никого...

* * *

Я кормился с ладоней твоих дневников,
Сизарей разыгралась возня.
Как меня отличить от моих двойников??
Угадай, умоляю, меня.

На дорогах моих не осталось подков —
Не найдешь и средь белого дня,
Но меж сотен бездарных моих двойников,
Ты, я верю, узнаешь меня.

И, как влагу любимцам-пернатым своим
Дашь из уст мне по капле в уста...
И ведет разговор, непонятный другим,
Разлученная смертью чета.

Марево. Безлюдье. Тишина.
 Степь жива лишь шепотом ковыльным
 Степь сильна, но без воды она
 Медленно становится пустыней.

Миражи вступают в свой черед,
 Возвещая приближенье бризов,
 И на горизонте виден флот —
 Флот девятый в качестве сюрприза.

«Гарри Трумэн» в Шкаринском пруду —
 Прямо из Персидского залива.
 Гуси мирно щиплют лебеду
 Там, где воровал я в детстве сливы.

Чьею волей ты вошел сюда?!
 Почему тебя никто не видит?
 Почему из берегов вода
 На простор засушливый не выйдет?

Рядом параллельные миры.
 Прикоснешься — в тот же миг «уважат».
 Вывернулись крыши от жары —
 Сушит, душит, парит, жарит, вяжет.

Призраки не принесут добра.
 Как наивны все, кто в это верит.
 Жиденькое слышится «ура!».
 Настежь все пораскрывались двери.

Выходи, входи, и гость, и вор.
 И сижу я, как дурак, на строчке.
 Двор родной, ты не родной мне двор,
 Не душа моя, а оболочка.

Ветер свежий, ты грозе сродни,
 А гроза проходит где-то рядом...
 Заверни ее, останови.
 Дай испытать ее свободы чадам.

ЛЕБЕДИ

Я воссоздал картину, наконец,
 Воображеньем, волей и стихами:
 Гоню машину, рядом спит отец,
 Вселенная мерцает над полями.

Сквозь гул мотора слышу тишину,
 Так мягко обступившую кабину,

За фарами в лощину я нырну
И вынырну, их в небо запрокинув.

А между тем ночная жизнь идет:
Я светом низкую цепляю птицу,
Вот под лучами медленно встает
Ромашек придорожных вереница,

Вот два зеленых глаза впереди,
Опомнившись, рванулись снова в темень...
Воображение, веди меня, веди,
И мы легко преодолеем время.

И вновь увидим то, из-за чего
Мы полуночный путь свершаем этот:
Селенье спящее, околицу его,
Залитую зеленым лунным светом,

Ветряк на взгорье, пруд и на воде,
Неподалеку от ветлы склоненной,
Двух спящих белоснежных лебедей,
Бог весть сюда откуда занесенных.

Они доньше прибывают там,
Как наших душ земное воплощенье,
Родные этим призрачным местам
В обрывках чьих-то тусклых сновидений.

Их отражает водяная гладь,
Подернутая серебристым флером,
И я велю мотору замолчать,
И гаснут суетливые приборы.

Я чувствую дыхание отца,
Слов нет, — все и без них понятно,
И нет виденью этому конца,
и нету, кажется, пути обратно.

Но рвется пленка, — прервано кино,
Мне возвращаться одному придется
Из тех времен, что прожиты давно.
На самом важном вечно пленка рвется...